
Литературное сегодня

Портретная галерея

Откровение на вольные темы

Юрий Малецкий

DOI: 10.31425/0042-8795-2018-4-60-72

Владимир Игоревич Холкин

театральный режиссер, литературный критик

Институт русской литературы (Пушкинский Дом) РАН

(199034, Россия, г. Санкт-Петербург, наб. Макарова, д. 4;

email: nkondratova@mail.ru)

Аннотация. В статье, посвященной творчеству недавно умершего романиста Ю. Малецкого, автор исследует его прозу как форму исповедальную, соединяющую в себе пристальное внимание к собственной душе, умную откровенность и стремление понять «внутреннее пространство *другого*». Образцом в обращении к *другому* и проникновении в его психологию для Ю. Малецкого становится Л. Толстой; по убеждению автора статьи, именно в «преодолении Толстого» наиболее ярко проявляется творческая манера Малецкого.

Ключевые слова: Ю. Малецкий, Л. Толстой, В. Розанов, роман-исследование, роман-исповедь.

Статья поступила 16.03.2018.

Поэт — это дитя боли, которого, однако,
Отец называет чадом радости.

Кьеркегор

Когда эта статья уже писалась, пришло горькое известие о том, что Юрий Иосифович Малецкий скончался. Светлая и верная ему память.

Последний роман, написанный Юрием Малецким, называется «Улыбнись навсегда» (2017). В этом непривычном сочетании слышится и дружеское пожелание, и — одновременно — доброе напутствие, добытое сложным духовным опытом пути, и призыв души, что искушена в вере и вот-вот уйдет в иную — после жизни — судьбу; в мир, где, по Карамзину, «нет ни страха, ни надежды».

Написан роман в пограничном, не просто определяемом жанре, в той крайне редкой стилевой форме, что вольно располагается в пределах непринужденного со вмещения исповеди, дневника и свободного сюжетного повествования. В классической литературе образцом подобной смелости обнаружения и прояснения «внутреннего человека» могут служить, например, романы Стендаля «Анри Брюлар» и «Воспоминания эгоиста». Или его художественный «трактат» «О любви», впервые в этой теме открывший и воплотивший в слове психологизм как метод и стиль. У самого же Малецкого подобный психологически нервный и исповедный тон свойствен роману «Физиология духа. Роман в письмах» (2002).

Строго выдержанный стилистически, роман «Физиология духа» полнится упрямым желанием разобраться в самом, пожалуй, необъяснимом явлении человеческой жизни. Сделан он в форме заочного диалога мужских и женских писем — полярно и без оглядки горячо рассуждающих о любви в супружестве. Автор же, скрывшись за фигурой одного из персонажей, психоаналитика-любителя, пространно комментирует эту безысходно грустную подборку прочитанных писем; и хотя он толкует ее в духе христианской этики, но и с неисцелимой досадой и сожалением о безуспешном труде — как мужчины, так и женщины — понять любовь как *отдание*, как стремление

«миловать» души друг друга. От лица этого персонажа автор-рассказчик утверждает: «Фундаментом же любви как милования (милости, а не жертвы) может быть только полное — не умозрительное <...> но всем естеством — осознание реальности *другого* как *реальности* другого» (курсив автора. — В. Х.).

Что же до романа «Улыбнись навсегда», явственно отталкивающегося от более ранней «Физиологии...», то при первом его чтении читатель нередко оказывается в затруднении. Ибо ритм письма сбивчив, неровен и тороплив, словно охвачен скрытым смятением, да и словесно пестрая форма долгой — то и дело пускающейся в ассоциации или пояснения — фразы предполагает медленное в ее богатые смыслом подробности вчитывание. Точнее даже — не вчитывание, а вслушивание: в голоса собеседников, в разговор, что ведется рассказчиком с его «внутренним человеком».

Это ритм, мелодика и смыслы почти изустного — трудного живого дыхания — рассказа. Монолога, что то и дело замедляется, а то и внезапно — порой на многоточии, порой на полуслове — прерывается, давая место вставным новеллам. Композиционно и ритмически уместные, эти новеллы в свой черед органично вплетаются в нарративную ткань-основу вслед внутренней логике повествования, выявляя и уточняя при этом многие оттенки событий романа, да и весь беспокойный ход его общего движения. Более того: благодаря логике пропущенных сквозь рефлексию человеческих чувств новеллы вплетаются в нее без сопротивления целого и без принуждения со стороны автора — при том, что ведет этот дневник-повествование тяжело и безнадежно больной и оттого особенно спешащий высказаться человек. Но странно: это человек веселого ума, умной любви и крепкой веры, а самое главное — неистребимой самоиронии. Самоиронии действенной, что спасает-выручает душу из колебаний жизнелюбия и мук телесной боли...

Само название романа «Улыбнись навсегда» неожиданно приводит на память строку из Байрона: «Прощай, и если навсегда, то навсегда прощай!» (коли допустить ее обобщенный посыл, вне зависимости от конкретного лирического адресата). Но и невзначай спорит с прощальным, «окончательным» смыслом заложенного в ней безверия и

безнадежности. Малецкий предлагает задуматься над словом «улыбнись», возникшим в таком контексте не по словотворческому парадоксу, а по оснащенному особым знанием чувству *инога*, предлагает вникнуть в слово, несущее в себе выразительные приметы собственной духовно убедительной судьбы и верного ей литературного поведения — другими словами, следуя пониманию уныния как греха, предлагает принять жизнь безунывно. Так что внутреннее содержание слова «улыбнись», вынесенное писателем в название своего прощального сочинения, — это и есть заглавное состояние его дара и души, верующей в собственное бессмертие неизменно и с радостью.

Примечательно, что история происхождения названия дается автором в последних строках романа. История короткая и выразительная в своей простой, настежь открытой символичности:

Был я, скорее всего, хмур и настроения самого убитого. Стоял себе возле задней двери (герой едет в троллейбусе. — В. Х.); рядом со мной топтался какой-то мужичонка навеселе. Смотрел он на меня, смотрел, — потом высказался: Ты че такой пыльным мешком ушибленный? Улыбнись навсегда! Так я и сделал. И делаю по сей день.

Насколько сцена эта подсмотрена и услышана вживе?.. А насколько придумана, создана и написана самим автором именно для завершения романа? Весь его духовный и нравственный ход вел к такому явлению — явлению ангела в неказистом образе «мужичонки навеселе» с этой его приободряющей (благословляющей!) заповедью. Благословляющей уходящего за порог жизни человека пытливого дара, жестокой судьбы и глубокой веры.

Юрий Малецкий начинал со стихов. Об этом он с искренней самоиронией пишет в авторском предисловии к книге «Убежище» (1997):

Единственный из известных писателей, принявший участие в моей литературной судьбе, — Булат Окуджава. Правда, сам он, что интересно, этого не знает. Дело было так. Однажды захотел показать стихи — и именно Окуджаве <...> кото-

рому храбро позвонил. «Добрый день, Булат Шалвович! Вы меня не знаете <...> Я пишу стихи — и очень хотел бы показать их именно Вам». «Очень жаль, — сказал Окуджава, — но я теперь стихов не пишу. Я пишу прозу и стихов больше не читаю — ни своих, ни чужих. Всего доброго» <...> С тех пор я и сам пишу только прозу [Малецкий 1997: 6].

Если попытаться сопоставить способ рефлексии и творческий метод Малецкого с чем-то знакомым, то ассоциативная память заставит припомнить не кого-либо из современников, а В. Розанова с его свободой и правдиво противоречивым — вплоть до своевольного — сведением воедино разных пластов наблюдаемой жизни и их толкований — как социально-культурных, так и индивидуально психологических, в своей разоблачительной достоверности доходящих порою до едкости. Однако такое сравнение осложняется, если не опрокидывается вовсе, при внимательном взгляде на дух иронии, присущий каждому из писателей. В случае Розанова и страсть, и сила иронии направлена во внешний мир. В случае Малецкого — всем своим веществом направлена внутрь, на беседы и разговоры его «внутреннего человека» с человеком — по Григорию Сковороде — «вышним». Проза Малецкого полна пронизывающей *самоиронии* — как душевной, так, если угодно, и плотской (ведь боль — как вызывающий повод к ней — не оставляла писателя многие годы). Розанову же самоирония не только не присуща, но и — без ущерба для самой природы его едкого таланта — противопоказана.

И все же Розанов близок Малецкому именно психологически — то есть прежде всего по устройству личности, что полномерно жива лишь тогда, когда сохраняет высокую меру свободы в разговоре о сокровенном и в безусловной искренности высказывания. Каков Розанов в «Опавших листьях» и «Мимолетном», таков и Малецкий в поэтике вольно и аутентично сложившейся фразы в романах «Физиология духа» и «Улыбнись навсегда».

Что же до романа «Любью» (1996), то в нем, кажется, ощутимо присутствует способ выявления и прояснения внутренней жизни, взятый «по Толстому». Именно его «Война и мир», по признанию Малецкого, давно и всерьез

является его любимым по стилю письма и методу такого прояснения сочинением. Впрочем, об отношении нашего писателя к Толстому мы еще скажем дальше, а пока — вот о чем: проза Малецкого — это проза, не сочиненная вслед выработанному плану и не сложившаяся в обстоятельном замысле. Это *событие слова*, что целиком и полно уже состоялось внутри, слова, памятно берегущего в себе первопричину и смысл своего происхождения, оглашенного в Евангелии от Иоанна. Слово Малецкого текуче, разнородно и плотно, однако тугой, невротичный поток его прозы не однотонен. Он свободно образован многообразными «темами и вариациями», что впадают в него, накопившие эмоциональную полноту образов и воздух интеллектуальных ассоциаций.

Композиция всех главных сочинений Малецкого построена росло, как раскидистое дерево, ветви которого отходят от ствола вольно и причудливо. Но и расти без магистрального сюжета жизни «сокровенного человека» ветви эти не в состоянии. Они то стремятся прочь от него, то неизменно возвращаются вспять. Так что, спускаясь и подымаясь по ним вновь, неуклонно придешь к покинутому на время основному сюжету.

Основной же сюжет повествований Малецкого посвящен формально свободному толкованию фундаментальных смыслов человеческого бытия: веры, боли, любви и... страха смерти. Проницательное обнаружение этих явлений существования Малецкий воплощает в своей текучей неканонической прозе — воплощает страстно и без надежды. Ибо герой писателя, постоянно оказываясь в многолюдье и среди разнообразных персонажей, подлинно и взаправду присутствует лишь в себе самом. Лишь одно из сочинений посвящено как раз попытке утаенного соприутствия, а именно присутствия в *другом*... Но об этом — чуть ниже.

И все же ранние тексты Малецкого, в частности его давние рассказы, полны описаний последовательно внешних (хотя и неизменно прошитых иронией). Или сочных гротескных впечатлений от смещенной с привычного места в конце 1980-х — начале 1990-х годов большой социальной жизни. Так, повесть «Неподдельная дружба наро-

дов», написанная в 1992 году с отчетливой самоиронией и со всем возможным в ту пору сарказмом, рассказывает о злоключениях супружеской пары в Праге во время их первого в жизни «челночного» предприятия. Первое же большое сочинение (и первая публикация Малецкого вообще) — повесть «На очереди» — было написано в 1983 году и, по слову самого автора, стало его «любимым детищем».

Именно в нем в творчестве Малецкого впервые ставится и внятно решается проблема *присутствия*. Фактически перед нами «попытка выйти — не отбросив, но видоизменив — из чисто психологического реализма в пространство иного порядка». Это повесть о последних, предсмертных днях девяностолетней старухи, описанных в ее внутреннем — несобственно-прямой речи — монологе, хотя и воображенном до самого последнего слова, но психологически точно воссозданном в повести с помощью толстовского метода остранения. В подтексте бьется «Смерть Ивана Ильича», однако между ней и «На очереди» есть разница. Сюжетно-психологический заряд повести Малецкого «историчен»: монолог угасающей героини, прорываясь сквозь гущу боли, беспамятства и видений, направлен вовне — в ее прошлое, в историю событий и людей. Повесть же Толстого — прежде всего о том, как, постепенно становясь недоступным, сужается и умалется для Ивана Ильича вещный мир настоящего.

Рассуждениям о Толстом, в частности, посвящены и несколько интеллектуально темпераментных страниц последнего романа Малецкого. Страниц неслучайных и пристрастных. А потому и ранняя повесть «На очереди» была направлена автором путем Толстого: настойчивость вчувствования в переживания *другого* и рефлексия его «внутреннего человека» говорит об особом взгляде писателя на взаимозависимость быта и бытия, свидетельствует о его писательском убеждении в том, что возможно проникнуть в жизненное пространство другой личности, вызнать его изнутри и — в конечном итоге — описать подробности своего пребывания в душевном мире *другого*.

Убеждение это — тем более стойкое, что присущее Малецкому пытлиное внимание к собственной душе, обострен-

ное уже в ранних сочинениях, пробуждало в нем уверенное желание разглядеть и понять пространство личности другого. Однако в последующих — уже более витых и узловатых вещах — таких как роман «Любью» или «Физиология духа» — цель поиска меняется. Возникает стремление исследовать полноту, значительность и боль собственной души (вкупе с непреходящей болью телесной), чтобы в итоге усилиться до ведущего. А желание насколько возможно исчерпывающе разобраться в истоках ее неистощимости становится гораздо более напряженным, и напряжение этого сократовского желания, скрепленное христианским духом, возрастает со временем предельно. Торопясь же к выявлению, оно наконец становится всеохватным в последнем — наиболее исповедально полным — романе писателя.

Именно с этим неуклонным ростом ощущения себя как единственного субъекта собственной воли связано, кажется, и иное стремление писателя — стремление одолеть в себе Толстого с его обаянием первобытного чувства жизни («Казачьи») и проникновенной созерцательностью метода остранения («Анна Каренина»). Не дать увлечь себя притягательно простым, нарочито безыскусным, разъясняющим стилем мысли («Воскресение»). Или пафосом поздней работы с вызывающе заостренным названием «Кому у кого учиться писать: крестьянским ребятам у нас или нам у крестьянских ребят?».

Стремление одолеть присутствие Толстого в себе, что было предчувствовано еще в юности и сознательно-вдумчиво пришло в зрелости, укоренилось в Малецком надолго, хотя и казалось почти безуспешным в желании своего действенного итога. Ибо в его корнях и истоках — изумление перед безжалостным толстовским признанием правдой любого внутреннего чувства и мысли человека и, главное, — восхищение толстовским словом, верным самому природному веществу чувств и мыслей *другого*. Иными словами, это решимость признать бесплодной попытку прояснить и понять *другого* как прельщение в вере — а признав, попробовать одолеть в себе непосильную определенность позднего Толстого, Толстого — периода его страстной публицистики, всемирной известности и романа «Воскресения», Толстого — логика и этического ортодокса.

И дело такого одоления — духовно и интеллектуально насыщенное для сложно думающего писателя и глубоко верующего человека, знатока тонкостей богословия — успешно достигается в романе «Улыбнись навсегда», где Малецкий не только добивается успеха в непростом акте «освобождения от Толстого» (если для удобства предположения лингвистически переименовать смысл заглавия знаменитой работы Бунина), но добивается этого со спокойным достоинством аналитического размышления и верной памяти тягот собственной — внешней и внутренней — жизни, знаемых не понаслышке и до конца выявленных в романе-исповеди.

Поздний — времени «Воскресения» — Толстой, пишет Малецкий,

не любил в себе живого плотского человека, а любил Человека — и чувствовал, что этому Человеку в человеке — необходимо прямое логическое высказывание <...> только оно одно и должно быть, и достойно быть письменно публично высказанным. Только оно и есть правда, и потому только оно одно и имеет значение. И вот его итоговое высказывание на старости лет. «Воскресение» <...> Силой рассудка он отменил то, что ему казалось плоской рассудительностью (псевдорассудком). Но, отменяя рассудок, можно выйти либо в большой Разум, либо в безумие.

И несколькими строками выше — с сожалением признается:

Но как только Нехлюдов нравственно воскрес и давай *искупать* (курсив автора. — В. Х.) — дальше началось что-то не то. Хотелось бы, чтобы то; а выходило не то. Я перестал идти за ним — а как бы хотелось. Я отложил книгу с тою нехорошею мыслью, что скучно...

Однако Малецкий добивается одоления Толстого в себе не только нелицеприятным рассуждением о романе «Воскресение». Он отважно решается и мастерски исполняет умелую и стилизаторски точную пародию на этически дотошный и словесно вязкий слог позднего Толсто-

го — пародию хотя и краткую, однако выразительно убедительную.

О решении преодолеть в себе «навязчивость» цепкого толстовского присутствия рассказчик в романе повествует так: «Он (Толстой) был силен во всех смыслах. И из души так просто не выводился. Но, належавшись с ним в лежку (автор-рассказчик находится на долгом излечении в одной из немецких клиник. — В. Х.), я, кажется, удумал, как его в себе извести. Да попросту: возьму любой случайный предмет и посмотрю, что напишется о нем, если применить стиль и логику Толстого. Тогда, если схвачу этот якобы безыскусный прием, меня отпустит».

Итак, Малецкий-пародист:

...вот плоды творческого раздумья: «N. был один из тех блестящих молодых людей, которые убеждены в том, что, как жаворонок поставлен в то положение, в котором он не только должен, но обязан не только летать, но при этом и петь, так и они поставлены в то положение вещей, при котором необходимо чистить зубы. И они, хотя или нехотя, исправно вычищали их, вставая поутру; вычищали, следя за тем, чтобы как следует, то есть до ненатурального, фальшивого блеска обработать каждый зуб <...> с тем тщанием, с которым обдeldывали они и другие свои дела, казавшиеся им не только серьезными, но самыми нужными, будь это в присутственном месте или на балу, где они выделяли с той же бессмысленной тщательностью и серьезностью всякие “па” и “гран па”; а между тем было, казалось, очевидно, что более нелепого, пустого и потому дурного дела, чем ежедневная по многу раз на дню чистка зубов с тем, чтобы назавтра повторить все то же самое, — более ненужного занятия нет на свете; но они не видели тут никакого противоречия, сколь бы очевидным оно ни было <...> отречься же делом от пустого предрассудка и вредной привычки, несмотря на то, что так поступали все окружающие их круга, то есть перестать чистить зубы, — так поступить они не могли решиться, потому что это ставило бы их в невозможное положение фальши, проистекающей, по их убеждению, от неорганичности такого поступка данной среде <...> и вот эти лучшие, умнейшие, благороднейшие из молодых, сознавая необходимость покончить с пустейшим суеве-

рием, видели одновременно с необходимостью одновременно и невозможность этой необходимости...»

С блеском закончив эту попытку освобождения-одоления, автор-рассказчик заключает: «Худо ли бедно, но меня отпустило. Или, по крайней мере, начало отпускать. Я сорвал с него всю его всяческую маску».

И все же, «освобождаясь» от Толстого-стилиста и этического проповедника, Малецкий не устает удивиться сверхзоркости его дара чувствовать и понимать *другого* и особенно — уметь и это чувство, и это понимание воплотить в слово:

Он знал и крестьянский ход мысли и некрестьянский ход мысли, и подлый склад мысли и угол зрения, когда надо пойти на обман и подлость. И он знал это как такую прозу, как если бы сам в жизни сто раз воровал, обманывал, подкупал, сидел, но и геройствовал, был доблестен, добр, великодушен и возвышен <...> Что это? Откуда это было? Этого никто не знал и не узнает; никто не поймет, как просто, о стольком столько зная, можно о стольком так просто и глубже и проще некуда писать.

Малецкий остается верен толстовской философии высказывания и следует путем бесстрашного выявления особых примет самосознания.

Хотя, разглядывая рукописи того же «Воскресения», понимаешь, как трудно его автор искал верного слова, предельно сообразного психологическому состоянию персонажа (в том числе — «остраненно» — и себя самого). Автор же романа «Улыбнись навсегда», спешно (вслед требованиям боли и судьбы) стремясь настигнуть «все-в-себе-происходящее» и не находя слова сразу, нередко замещает его нервным междометием. Или энергичным — взятым обыкновенно из уличной речи — словечком. Что, стоит признать, часто обнаруживает в потоке чувств правду их действительной — по сложности плетения — несказанности, которая в свою очередь предлагает читателю самому потрудиться и проникнуть в глубину переживаний того или иного персонажа. Или, зачастую, — сочувствуя переживаниям самого автора, вникнуть в круг

его размышлений, столь свойственных этой интеллектуально насыщенной, туго свитой прозе.

Однако автору приходится одолевать в себе не только дух мысли и стиля Толстого, но и мучительную боль собственной плоти. Каким образом? Идя ей навстречу, делая ее самостоятельным субъектом своей жизни и даже вступив с ней в своеобразную сделку — позвав быть помощницей, едва ли не соавтором в сочинительстве. Во всей крупной прозе Малецкого боль присутствует не как вкрапшаяся в общий фон временная помеха, а как постоянная и значительная доля цельной ткани повествования, как одна из стилистически и сюжетно ярких составляющих его поэтики. Постоянно ощущая и зная боль, он умеет это ощущение еще и осмысливать, оснащая сочинение свободными — порожденными болью — ассоциациями и напитывая самоиронией. Иначе говоря, писатель чувствует и знает боль как состояние не только телесное, но и экзистенциальное.

Именно о таком душевном и... творческом явлении личности героя «Улыбнись навсегда» рассуждает на предпоследней странице романа врач немецкой больницы, напутствующий его перед выходом на волю:

Должен сказать — вы просто не понимаете, какой вы счастливцев в несчастной ситуации душевной болезни. Вы можете писать, формулируя и транслируя свой опыт <...> вам не повезло с собой, это так, но уж если это так, то внутри своего «несчастливого сознания», как говорил, кажется, Камю <...> так вот, внутри своего страдания вы еще очень счастливы.

И, вторя ему, стоит сказать, что все созданное Малецким несет внутри себя отсвет счастливо творившего человека. Писателя, весь свой тяжкий опыт воплотившего в пронзительно правдивые книги души.

Литература

Малецкий Юрий. Предисловие // Малецкий Юрий. Убежище. Роман, повести и рассказы. М.: Книжный сад, 1997. С. 4—11.

References

Maletsky, Y. (1997). Foreword. In: Y. Maletsky, *The asylum. Novel, novelettes and stories*. Moscow: Knizhniy sad, pp. 4-11. (In Russ.)

A private talk on unrestricted subjects

Yury Maletsky

DOI: 10.31425/0042-8795-2018-4-60-72

Vladimir I. Kholkin

theatre director, literary critic

The Institute of Russian Literature (Pushkin House) of the Russian Academy of Sciences

(4 Makarova Emb., St. Petersburg, 199034, Russia;

email: nkondratova@mail.ru)

Abstract: Written in the genre of the so-called ‘critical obituary’, this paper is devoted to the works of the recently deceased novelist Yury Maletsky and examines his prose as confessions, which combine deep soul searching and a passionate attempt to learn more about ‘*the other’s* inner space’. Inspired by L. Tolstoy in his dealings with *the other’s* psychology, Y. Maletsky also follows V. Rozanov in his uninhibited, paradoxical and impressionistic narration. As a result of this combination of two artistic styles, Maletsky faithfully exercises Tolstoy’s philosophy of expression, while baring his own mind and soul without hesitation. The author believes that it was through ‘overcoming Tolstoy’ with ‘Rozanov’s method’ that Maletsky shines the brightest.

Keywords: Y. Maletsky, L. Tolstoy, V. Rozanov, an exploration novel, a confessional novel.

The article was received on 16 Mar. 2018.